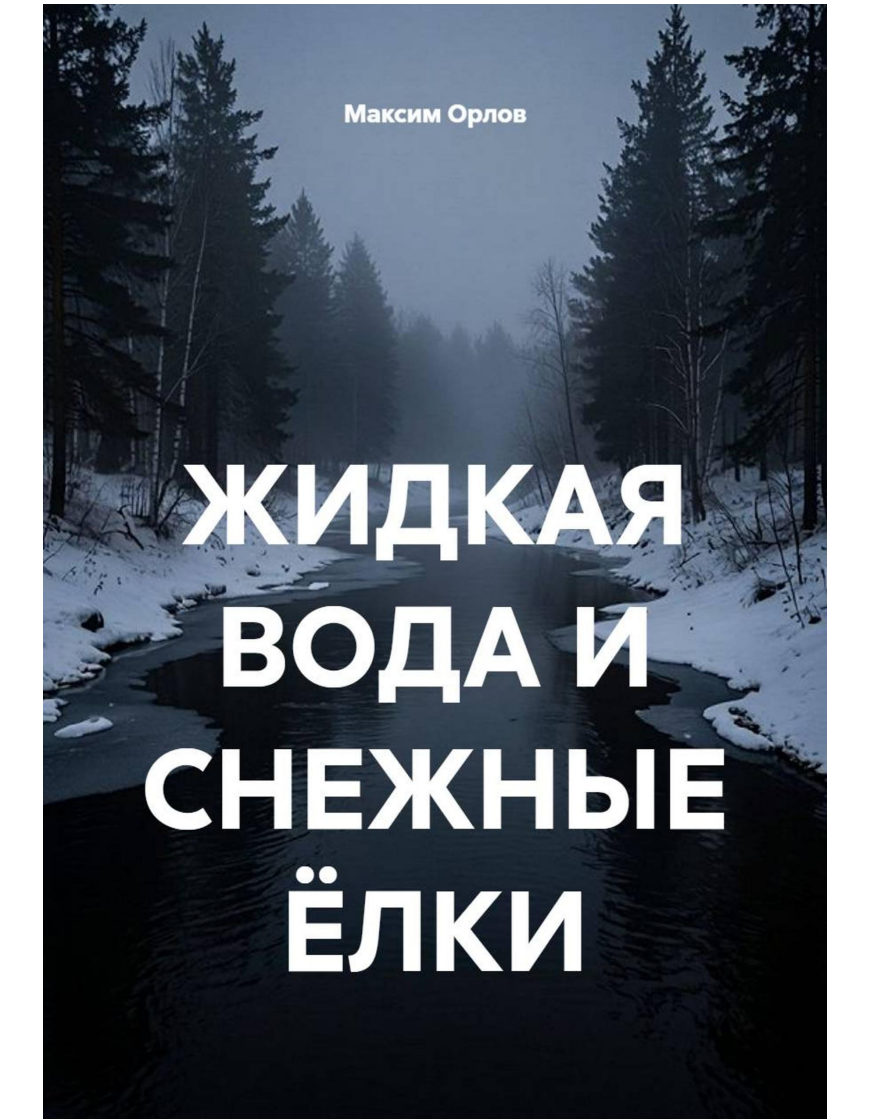




Максим Орлов

ЖИДКАЯ ВОДА И СНЕЖНЫЕ ЁЛКИ

Максим Орлов

ЖИДКАЯ ВОДА И СНЕЖНЫЕ ЁЛКИ

<https://litres.ru/74598209>

SelfPub; 2026

Аннотация

Конец октября. Чусовая ещё не встала — чёрная, живая, она дышит паром между заснеженных берегов. Жидкая вода и снежные ёлки. Уральское безвременье, которое Мирон любил с детства. Теперь в этой воде — смерть.

Дожди размыли берег у старинного села Кын, и река вошла в штольни Строгановых. Вернулась чёрной. Кто испил — обратился. Кто утонул — вернулся. Река не принимает мёртвых.

Мирон возвращается с промысла и находит у камня Печка первого мертвеца. В Кыне — его жена Анфиса. Мирон идёт за ней. Двадцать вёрст по берегу, где под каждой заснеженной елью прячется смерть.

С ним — бывший зэк Штырь, охотник Пахом, фельдшер Варя и мальчик Костя, который чувствует мертвецов раньше всех.

Их путь лежит через вымершие деревни, сгоревшие скиты, старообрядческие ледники и штольни, где в чёрной воде стоит «Стадо» — те, кто уже не люди, но ещё не совсем мертвы.

Это история о том, как отпустить прошлое. О том, что живые страшнее мёртвых. И о том, что даже в конце мира остаётся место для жизни.

Содержание

ПРОЛОГ. ЖИДКАЯ ВОДА	5
ГЛАВА 1. НАСТ	11
ГЛАВА 2. УТОПЛЕННИКИ	29
ГЛАВА 3. КАМНИ	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Максим Орлов

ЖИДКАЯ ВОДА И

СНЕЖНЫЕ ЁЛКИ

ПРОЛОГ. ЖИДКАЯ ВОДА

«Штольни под Кыном копали ещё при Строгановых, а что в них лежит — того и заводчики не знали. Река знала. Река всё знает». — Из тетради заводского сторожа, найденной в Кыне

Мор пришёл с воды.

Я понял это на третий день, когда нашёл первого. Тогда я ещё не знал, что где-то под Кыном, в старых штольнях Строгановых, что-то вскрылось — то ли захоронение, то ли порода, которую лучше было не трогать. Река вошла в шахты в конце октября, когда дожди размывали берег у завода, и вернулась обратно чёрной. Кто испил из Чусовой в те дни — тот не умер. Но и не жил. Это я тоже понял позже. Тогда, на третий день, я просто нашёл тело на берегу и подумал: убили человека.

Тело лежало у камня Печка, наполовину в воде. Мужчина, ватник, кирзовые сапоги, борода. Рана под сердцем — рваная, с обломками рёбер наружу. Кровь замёрзла чёрным

льдом. Я присел на корточки, держа карабин наготове, и в этот момент он открыл глаза.

Мёртвый поднялся быстро — быстрее, чем я ожидал. Он схватил меня за голень, и я почувствовал, как его пальцы, твёрдые, как замороженное дерево, впиваются в сапог. Я рванул ногу, потерял равновесие, упал на спину. Лыжи сорвались, наст подо мной хрустнул. Мёртвый тянул меня к себе, к воде, и я видел его лицо — обмороженное, с белёсыми глазами и чёрными точками зрачков, — и слышал влажное щёлканье, как будто он пытался что-то сказать, но горло не слушалось.

Я выхватил нож. Лезть в драку с ним вплотную было чистой дурью — я знал это уже тогда, — но карабин остался на снегу в двух шагах, а мёртвый был ближе. Я ударил его в шею, под челюсть, туда, где мягче. Нож вошёл, как в мокрый снег. Мёртвый дёрнулся, но хватку не ослабил. Я ударил снова, повернул лезвие. Тогда он разжал пальцы — медленно, нехотя, — и я откатился в сторону, к карабину.

Второй выстрел — в упор, в лицо. Голова мотнулась, тело рухнуло навзничь, прямо в чёрную воду. Течение подхватило его и потащило к стрежню. Я стоял на берегу, тяжело дыша, и смотрел, как мёртвый уплывает вниз по Чусовой. Он не тонул. Он плыл лицом вверх, раскинув руки, и вода несла его, как несла бы бревно.

Потом я услышал хруст за спиной.

Их было семеро. Они вышли из-за «снежных ёлок» — тех

самых елей, что стояли вдоль берега в белых шубах, — и шли ко мне медленно, по одному, по двое. Ватники, телогрейки, охотничьи куртки. У одного — ружьё, у другого — топор, у третьего — кусок арматуры. Лица обмороженные, глаза белёсые. Щёлканье — теперь я слышал его отовсюду, тихое, влажное, как будто они переговаривались.

Я перезарядил карабин. Руки не дрожали. За три дня я научился не дрожать.

Первый выстрел — в того, с ружьём. Он упал, но ружьё, падая, выстрелило само, и дробь ушла в снег у моих ног. Я отшатнулся, ушёл в сторону, перезарядил. Второй выстрел — женщина в телогрейке, шагов десять. Она упала. Третий — мужчина с топором, уже близко, шагов пять.

Патронов у меня двадцать три. Я считал их, как считал всё последние дни: шаги, вдохи, удары сердца.

Я отступал вдоль берега, к камню Великан. Там, за скалой, был узкий проход между берегом и водой — я знал его с детства. Если проскочить туда, они не смогут обойти меня с флангов. Но их было семеро, и с каждым выстрелом их не становилось меньше.

Четвёртый выстрел. Пятый. Я бросил пустой карабин на снег — жалко до судороги в животе, но некогда — и побежал. Лыжи я оставил у Печки, и теперь шёл по насту в сапогах, проваливаясь по колено, проклиная всё на свете.

Они шли за мной. Не бежали — просто шли, ровно, не отставая. Они не устают. Я знал это уже тогда.

У Великана я обернулся. Шестеро — одного я, видимо, уложил — шли по моему следу. И тут из-за камня, из-под нависающей известняковой плиты, вышли ещё двое. Эти были мокрые. Только что из воды — волосы прилипли к лицам, одежда облепила тела, с рукавов капало. «Утопленники». Река не приняла их — вынесла обратно.

Один из них, тот, что был ближе, открыл рот. Из горла вылилась вода — чёрная, с песком, — и он шагнул ко мне.

Я метнулся в проход между скалой и водой. Узкая полоса берега, шагов десять, потом — обрыв и стрежень. Слева — камень, справа — Чусовая. Я шёл по самой кромке, балансируя на мокрых камнях, и слышал, как за спиной «утопленники» входят в проход. Один, поскользнувшись, упал в реку и поплыл — лицом вверх, как первый.

На выходе из прохода меня ждали.

Двое. Свежие, недавно обращённые — я понял это по тому, как они двигались. Быстро, дёргано, жадно. «Бегуны». Они бросились на меня одновременно, и я успел только выставить перед собой нож. Первый налетел на лезвие сам — я не бил, просто держал, — и нож вошёл ему в живот по рукоять. Он не остановился. Он тянулся ко мне, щёлкая зубами, и я чувствовал его дыхание — тёплое, живое, как у человека. Второй схватил меня за плечо, рванул, и мы покатались по снегу, к самой воде.

Я бил его локтем, коленом, головой. Он не отпускал. Я видел его лицо вблизи — молодое, лет двадцати, с пробитым

виском и запёкшейся кровью на щеке. Он был живым ещё сегодня утром. Может, час назад.

Нож остался в первом. Я выхватил из-за пазухи второй — короткий, охотничий, — и ударил бегуна в глаз. Он дёрнулся и обмяк. Я сбросил его с себя, поднялся, шатаюсь.

Первый, с ножом в животе, всё ещё стоял. Тянулся ко мне. Я обошёл его, выдернул нож из раны — он даже не вздрогнул, — и ударил сзади, в основание черепа. Он упал.

Тишина.

Я стоял на берегу Чусовой, мокрый, в снегу, с двумя ножами и без карабина. Река текла рядом — чёрная, живая, не замёрзшая. Пар поднимался от неё к серому небу. За спиной, в проходе у Великана, слышался хруст — «утопленники» и «снежники» шли за мной.

Я побежал. Вниз по течению, к Кыну. Двадцать вёрст по берегу.

Я бежал и думал о том, что знал: в конце октября, когда дожди размывали берег у завода, вода вошла в старые штольни под Кыном. Штольни копали ещё при Строгановых, и что в них лежало — того не знали даже заводчики. Река вынесла это на поверхность. Кто испил из Чусовой в те дни — обратился. Кто утонул — вернулся. Так говорили. Я не знал, правда это или нет. Я знал только, что мёртвые идут за мной, и что в Кыне — схрон, и что там, может быть, ещё живые люди.

Я бежал.

ГЛАВА 1. НАСТ

«И встал наст, и стали ёлки белыми, и пошли мёртвые по реке. И кто был жив — тот бежал». — Из тетради неизвестного, найденной в Кыне

Я шёл на восток, к заимке, и наст под лыжами звенел, как битое стекло. Карабин остался у Печки — бросил, когда бежал, и теперь в кармане было два ножа, полфляги спирта и злость. К вечеру я вышел к избе. Она стояла на берегу, вросшая в снег по окна, с трубой, из которой шёл дым.

Дым. Живой.

Я остановился шагах в тридцати. Лыжи впились в наст. Ветер шевелил ветви елей, и снег с них падал вниз, беззвучно, как белые хлопья савана. В окне избы горел свет — тусклый, жёлтый, керосиновый. Кто-то был внутри. Кто-то живой.

Я не пошёл к двери. Обогнул избу по кругу, держась в тени елей, проверяя следы. Один человек. Ботинки сорок пятого размера. Заходил с берега, уходил к реке — за водой. Следы свежие, сегодняшние. Один. Значит, можно попробовать.

Я подошёл к двери и толкнул её. Дверь открылась.

Внутри пахло дымом, спиртом и мокрой шерстью. На нарах, у печи, сидел мужик. Крупный, бритый наголо, с татуировками на пальцах — я разглядел в свете керосинки, как

на левой руке у него выколото что-то, похожее на волка. Он не вскочил. Не потянулся за оружием. Только поднял голову и посмотрел на меня. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и в них не было ни страха, ни удивления. Как будто он ждал.

— Здорово, — сказал он. Голос хриплый, с блатным налётом. — Дверь закрой. Холодно.

Я не закрыл дверь. Стоял на пороге, с ножом в руке. Он посмотрел на нож, потом на меня. Усмехнулся.

— Ты бы убрал это. Я не собираюсь. Места много, спирт есть, печь тёплая. Или ты хочешь снаружи ночевать? Там, между прочим, твои друзья ходят.

Он кивнул в сторону окна. Я не обернулся. Знал, что он имеет в виду.

— Откуда знаешь, что я не один?

— А ты как думаешь? — Он встал, и я увидел, что он большой, тяжелее меня килограммов на тридцать. — Я тут третий день. Первый день — тихо. Второй — двое прошли по берегу, я их видел из окна. Шли, как пьяные, но не пьяные. Третий — вот ты. С ножом. Логично?

Он подошёл к столу, взял бутылку без этикетки, налил в две кружки.

— Пей. Холодный небось. Или ты так и будешь стоять? Тогда я один выпью.

Я убрал нож. Не потому, что поверил, — потому что он был прав: на улице холодало, а в избе было тепло. И ещё

потому, что у него был спирт.

— Мирон, — сказал я.

— Штырь. — Он протянул руку. Ладонь у него была жёсткая, как доска, и в ней чувствовалась сила, которую он не показывал.

Мы выпили. Спирт обжёг горло, растёкся по груди, и я впервые за три дня почувствовал, что ещё жив.

— Ты откуда? — спросил он.

— С Усьвы. Шёл с промысла. У Печки засада была. Карabin бросил.

— Печка, — он кивнул. — Знаю. Я там вчера проходил. Тел полно. Лежат вдоль берега, как дрова. Не шевелятся. — Он помолчал. — Днём.

Я понял, что он хотел сказать. Ночью они шевелятся.

— Сколько их? — спросил я.

— Много. — Он налил ещё. — Больше, чем живых. Я в Усьве был, когда началось. Думал, там порядок. Ага. Порядок. Река пошла в шахты — ну, ты знаешь, там старые выработки. Вода вернулась чёрная. Бабы воду пили — кто с реки, кто с колодца. Колодцы-то в Усьве от реки питаются. Ну и всё. К вечеру половина села ходила, как пьяная. К утру — встали. Я ушёл. С тех пор иду. Думал, в Кыне схрон. Завод. Стены. Может, живые есть.

— Есть, — сказал я. — Я оттуда. Точнее, шёл туда. Жена там. Анфиса.

Он посмотрел на меня. Долго. Потом отвёл глаза.

— Ну, — сказал он. — Тогда нам по пути.

Я не ответил. Спирт сделал своё дело — тело отяжеле-
ло, веки налились свинцом. Я сидел на нарах, у печи, и слу-
шал, как потрескивают дрова. Штырь сидел напротив, чи-
стил нож. Молчал. Иногда поднимал голову и смотрел в ок-
но. Там было темно — хоть глаз выколи, только белые шапки
на елях проступали в сумраке, как черепа.

— Ложись, — сказал он. — Я покараулю. Потом разбу-
дишь.

Я не хотел спать. Я знал, что если засну, то увижу её —
Анфису, как она стоит на крыльце, в белом платке, и машет
мне рукой. И я знал, что это сон. Но глаза закрывались сами.

— Слушай, — сказал я. — Ты видел что-нибудь... под еля-
ми? В снегу?

Он перестал чистить нож. Поднял на меня глаза.

— Ты про «снежников»?

— Про них.

— Видел, — сказал он. — Они под ёлками сидят. Снег на
них — не снег, а корка. Как саван. Ты идёшь, думаешь —
ёлка. А потом она встаёт. — Он помолчал. — Один раз чуть
не влетел. Баба. В белом. Я думал — баба, живая. Подошёл.
А у неё глаза мутные. И рот — как будто она что-то жуёт.
Я её обрезаю. В упор. Она упала. Снег с неё посыпался. Как
с ёлки.

Я кивнул. Я видел таких.

— Ладно, — сказал он. — Спи. Я разбуджу, если что.

Я лёг на нары. Печь гудела. За стеной ветер шевелил ели. Я закрыл глаза и провалился в темноту, как в прорубь.

Меня разбудил звук.

Не выстрел. Не крик. Хруст. Так хрустит снег, когда по нему идут медленно, осторожно, шаг за шагом. Я открыл глаза. В избе было темно — керосинка погасла. Штырь стоял у окна, с обрезом в руке. Он смотрел наружу.

— Сколько? — спросил я, садясь.

— Пятеро, — ответил он, не оборачиваясь. — Идут от берега. Медленно. Как ты говорил.

Я встал. Тело затекло, бок, расцарапанный у Печки, ныл. Я подошёл к окну. В сером свете — луна вышла из-за туч, — я увидел их. Пятеро. Шли гуськом, по одному, от реки к избе. Ватники, телогрейки, один — в коротком пальто. Лица бледные, глаза — как две дыры в снегу.

— Снежки? — спросил я.

— Не, — сказал Штырь. — Эти с воды. Утопленники. Видишь, мокрые?

Я присмотрелся. Одежда на них блестела, как будто они только что вылезли из реки. С рукавов капало. Шли ровно, не шатаясь. Утопленники. Река их вынесла.

— Что делать будем? — спросил Штырь.

— Ждать, — сказал я. — Они нас не видят. Дверь заперта. Окна высоко. Если не шуметь — пройдут мимо.

Я ошибся. Они не прошли мимо. Они остановились у крыльца. Стояли, мокрые, неподвижные. Ждали. Как будто знали, что мы внутри.

— Сука, — тихо сказал Штырь. — Они чувствуют.

— Тепло, — сказал я. — От избы идёт тепло. Они чувствуют тепло.

Первый шагнул на крыльцо. Доски скрипнули. Я услышал, как его рука легла на дверь. Потом — как он начал скрести. Медленно, ногтями, по дереву. Скрип, скрип, скрип. Как будто кто-то хотел войти, но забыл, как открываются двери.

Второй подошёл к окну. Его лицо появилось в стекле — распухшее, белое, с чёрными провалами глаз. Он смотрел внутрь. И я понял: он нас видит. Или чувствует. Он знал, что мы здесь.

— Ну всё, — сказал Штырь. — Хватит ждать.

Он поднял обрез. Выстрел разорвал тишину — громкий, как удар молота по железу. Стекло лопнуло. Утопленник у окна отлетел назад, и я увидел, как его голова мотнулась, а из затылка вылетели тёмные брызги. Он упал на снег.

Остальные зашевелились. Быстрее, чем я ожидал. Тот, что скрёб дверь, ударил в неё плечом. Доски задрожали. Второй удар — и верхняя петля вылетела.

— Держи дверь! — крикнул я, хватая нож.

— Чем? — Штырь перезаряжал обрез. — У меня два патрона!

Третий удар. Дверь распахнулась. Утопленник ввалился внутрь, мокрый, вонючий, с руками, вытянутыми вперёд. Я ударил его ножом в шею — под челюсть, как учил отец. Лезвие вошло, как в мокрый снег. Утопленник схватил меня за руку. Пальцы у него были скользкие, холодные, как рыба.

Штырь выстрелил в упор. Голова утопленника лопнула. Меня обдало чёрной жижей — кровью, водой, чем-то ещё. Я отшатнулся, вытирая лицо.

— За мной! — крикнул Штырь.

Он рванул к печи. Я не понял, что он делает, — а он схватил кочергу и распахнул дверцу топки. Огонь метнулся наружу, осветив избу. Штырь выхватил горящую головню и швырнул её в проём двери. Головня упала на крыльцо, в лужу мокрого снега. Зашипела. Но второй утопленник, тот, что лез в дверь, отшатнулся. Огонь. Они боятся огня.

— Ещё! — крикнул я.

Штырь швырнул вторую головню. Третью. Крыльцо задымилось. Утопленники отступили на снег. Стояли, мокрые, и смотрели на огонь. Один — тот, что был в пальто, — открыл рот. Из горла вылилась вода, чёрная, с песком. Он сделал шаг вперёд. Потом ещё один. Огонь не остановил его — только замедлил.

— Наверх! — крикнул Штырь. — На крышу!

Мы полезли на чердак. Лестница была старая, скрипучая, но держала. Штырь затащил за собой мешок с патронами. Я — флягу и нож. Утопленники остались внизу. Стояли у

печи, мокрые, и смотрели вверх. Ждали.

Мы сидели на чердаке до утра. Холодно. Крыша продувалась ветром. Штырь ругался сквозь зубы. Я смотрел в щель между досками, как утопленники бродят по избе. Один подошёл к печи. Потрогал её рукой. Зашипел — кожа прилипла к металлу. Отдёрнул. Потом снова потрогал. Они не чувствуют боли. Или чувствуют, но не понимают.

К рассвету они ушли. Просто вышли из избы и пошли к реке. Один за другим. Медленно. Я смотрел, как они спускаются к воде. Первый вошёл в Чусовую по пояс. Потом по грудь. Потом ушёл под воду. Второй. Третий. Река их приняла. На время.

— Вернутся, — сказал Штырь. — Река их не держит. Вынесет обратно.

— Знаю, — сказал я.

Мы спустились с чердака. В избе было холодно, дымно, воняло мокрой гнилью. На полу — чёрная жижа. У печи — обугленные головни. Я подошёл к окну. Стекло было выбито. Ветер задувал снег внутрь. Я заткнул дыру тряпкой.

Штырь сидел на нарах. Смотрел на меня.

— Ну что, — сказал он. — В Кын?

— В Кын, — сказал я.

— Схрон у меня есть, — сказал он. — В Усьве, на старом складе. Патроны, спирт, тушёнка. Но туда — вверх по реке. А нам — вниз.

— Вниз, — сказал я.

— Тогда так, — сказал он. — Идём по берегу. Не по реке. Лёд тонкий. И не по лесу — там «снежники». По берегу. Я пойду первым. Ты — за мной, шагов десять. Если что — стреляю я. У тебя нож. Ближний бой — твой.

— Годится, — сказал я.

Мы вышли на рассвете. Наст звенел под ногами. Ели стояли в белых шубах. Чусовая текла рядом — чёрная, живая, не замёрзшая. Пар поднимался от неё к серому небу. Где-то далеко, за камнем Великан, дымил костёр. Кто-то живой. Или что-то.

— Слышь, Мирон, — сказал Штырь, когда мы отошли от избы на версту. — Ты про Кын говорил. Про жену. Она там, да?

— Там, — сказал я.

— А если нет? — Он не смотрел на меня. Шёл вперёд, по насту, широко шагая. — Если нет её там? Или хуже?

Я не ответил. Я думал о том же. Всю дорогу — от Печки до заимки, и сейчас, когда мы шли вниз по Чусовой, к Кыну, — я думал о том же. Что если Анфисы нет. Что если она — там, под елями. Или в воде. Или хуже.

— Тогда я её найду, — сказал я. — Или то, что от неё осталось.

Штырь кивнул.

— Ну, — сказал он. — Тогда идём.

И мы пошли. Вниз по Чусовой. К Кыну. К тому, что нас там ждало.

Мы шли по берегу третий час, и Чусовая дышала справа — чёрная, живая, не замёрзшая. Пар поднимался от неё к серому небу, смешивался со снегом, и в этом мареве берега казались размытыми, ненастоящими. Наст звенел под ногами. Ели стояли в белых шубах, и я старался не смотреть на них слишком долго — потому что под каждой могло что-то быть.

Штырь шёл первым, широко шагая, обрез на сгибе локтя. Я — за ним, шагов десять, как договорились. Ножи в карманах, фляга за пазухой. Тишина стояла плотная, как вата, и в этой тишине каждый звук был событием: хруст наста, скрип ветки, далёкий стук — не то дятел, не то что-то другое.

К полудню мы вышли к оврагу.

Овраг врезался в берег глубоко, как рана. Склоны заросли ельником, на дне — ручей, ещё не замёрзший, чёрный, как и река. Через овраг был перекинут ствол — старый, замшелый, скользкий. Единственный путь на ту сторону.

Штырь остановился. Поднял руку. Я замер.

— Следы, — сказал он тихо, не оборачиваясь. — Свежие.

Я подошёл. На снегу, у самого края оврага, отпечатались следы. Не мертвецов — те шли ровно, волоча ноги. Эти были другие: чёткие, глубокие, с рисунком протектора. Ботинки. И не одна пара. Три, может, четыре.

— Живые, — сказал я.

— Или были, — Штырь кивнул на дно оврага.

Внизу, у ручья, что-то темнело. Я присмотрелся. Тело. Лежало лицом вниз, раскинув руки. Ватник, сапоги. Рядом — ружьё, старое, одностволка.

— Один, — сказал Штырь. — Остальные ушли.

— Или их ушли, — сказал я.

Мы спустились. Осторожно, держась за стволы елей, ступая на корни. На дне пахло сыростью, мокрым мхом, чем-то кислым. Тело лежало у самой воды. Я перевернул его носком сапога. Мужик. Лет сорока, борода, лицо обморожено. Горло перерезано — ровно, чисто, одним движением. Кровь замёрзла чёрной коркой. Не мертвецы. Мертвецы так не умеют.

— Люди, — сказал Штырь. — Свои.

— Свои своих не режут, — сказал я.

— Ещё как режут. — Он присел, осмотрел ружьё. — Патронов нет. Забрали. И сапоги бы забрали, да маловаты, наверное. — Он выпрямился. — Идём отсюда. Пока те, кто это сделал, не вернулись.

Я не двинулся. Смотрел на мужика. На его лицо. Что-то в нём было знакомое — не сам мужик, а выражение. Так смотрят люди, которые умерли не от того, что их убили, а от того, что они перестали верить. Я видел такое на войне, в Чечне, куда попал по дурости в двадцать два. Тогда я думал, что хуже не бывает.

— Мирон, — Штырь тронул меня за плечо. — Идём.

Мы поднялись по склону. Наверху, у ствола через овраг, снова остановились. Штырь посмотрел на переправу — бревно было скользкое, обледеневшее, шаткое.

— По одному, — сказал он. — Я первый.

Он ступил на ствол. Бревно скрипнуло, но держало. Штырь сделал три шага, четыре. Я смотрел на его спину, на то, как он балансирует, раскинув руки. Пятый шаг. Шестой.

И тогда из-под елей на том берегу вышли они.

Трое. Мужик с ружьём — двустволка, короткая, обрез. Баба в телогрейке, с топором. И парень, молодой, лет семнадцати, с вилами. Они стояли на краю оврага и смотрели на Штыря. Ружьё мужика было направлено ему в грудь.

— Стой, — сказал мужик. Голос глухой, усталый. — Не дёргайся. Кто такой?

Штырь замер на бревне. Я видел, как напряглась его спина. Он не потянулся к обреза — понял, что не успеет.

— Штырь, — сказал он. — Иду в Кын. С напарником.

— С каким напарником?

— Со мной, — сказал я, выходя из-за ствола.

Мужик перевёл ружьё на меня. Баба с топором шагнула в сторону, заходя с фланга. Парень с вилами остался на месте, но глаза у него были испуганные — как у зайца, которого загнали в угол.

— Ещё один, — сказал мужик. — Оружие есть?

— Ножи, — сказал я. — Карабин остался у Печки.

— У Печки, — мужик усмехнулся, но невесело. — Там

гнездо. Мы оттуда еле ушли. Двоих потеряли.

— Я видел, — сказал я. — Одного, внизу. С перерезанным горлом.

Мужик не изменился в лице. Только ружьё чуть опустил.

— Это не мы, — сказал он. — Это те, кто шёл перед нами. Мы их нагнали у Медвежьего камня. Они резали своих, чтобы те не встали. — Он помолчал. — Мы не успели. Он уже встал, когда мы подошли. Пришлось добить.

— Верю, — сказал я.

Я не верил. Но выбора не было. Позади, за спиной, у Печки, осталось гнездо. Впереди — неизвестность. А эти трое были живыми. И у них было ружьё.

— Как звать? — спросил мужик.

— Мирон. Это Штырь.

— Пахом. — Мужик кивнул на своих. — Люба. Костя. Идём из Усьвы. Тоже в Кын. Говорят, там стены.

— Говорят, — сказал я.

Пахом опустил ружьё. Не до конца — так, чтобы можно было поднять обратно за секунду. Но опустил.

— Переходите, — сказал он. — Только по одному. И без фокусов.

Штырь перешёл первым. Потом я. Бревно скрипело под ногами, но держало. На том берегу Пахом пожал мне руку — коротко, сухо. Люба кивнула. Костя смотрел в сторону, на реку.

— На ночь встанем здесь, — сказал Пахом. — В овраге.

Там схрон — старый, ещё с войны. Блиндаж. Стены, крыша. Печку сложили. Переждём до утра.

— В овраге? — переспросил Штырь. — Там же мертвяк внизу.

— Внизу, — согласился Пахом. — А блиндаж — на склоне. В ельнике. Они под елями сидят, но в блиндаж не заходят. Дверь железная.

Мы спустились. Блиндаж оказался врезанным в склон — низкая дверь, обитая железом, за ней — комната метров десять, с печкой-буржуйкой, нарами, столом. Пахом затопил. Люба достала из мешка хлеб, сало, луковицу. Мы ели молча. Костя сидел у печки, смотрел на огонь.

— Сколько вас было? — спросил я.

— Семеро, — сказал Пахом. — Осталось трое. Двое у Печки, один внизу. Ещё один — вчера, на переправе. Утопленники.

— А седьмой? — спросил Штырь.

Пахом не ответил. Люба посмотрела на него, потом на меня. Костя отвернулся.

— Ушёл, — сказала Люба тихо. — Ночью. Забрал ружьё, патроны, весь спирт. И ушёл.

— Куда?

— В Кын. — Она усмехнулась. — Он всегда говорил, что в Кыне — порядок. Настоятель. Что там спасут. Он туда и пошёл. Один.

Я посмотрел на Штыря. Штырь — на меня. Мы оба поду-

мали одно и то же, но вслух не сказали.

Ночью я не спал. Лежал на нарах, слушал, как гудит печка, как ветер шевелит ели над блиндажом. Пахом спал у двери, положив ружьё под голову. Люба — на соседних нарах, от-вернувшись к стене. Костя сидел у печки, подбрасывал щепки. Мальчишка не спал. Боялся.

Я встал, подошёл к нему. Сел рядом.

— Не спится?

Он вздрогнул, посмотрел на меня. Глаза красные, как у кролика.

— Там, наверху, — сказал он шёпотом. — Они ходят. Я слышу.

Я прислушался. Сначала — ничего. Потом — да. Хруст. Тихий, размеренный. Шаги по насту. Много. Не один, не два. Десятки.

— Давно? — спросил я.

— С полуночи, — сказал Костя. — Идут и идут. Вокруг блиндажа. Кругами.

Я поднялся, подошёл к двери. Приоткрыл её на палец. В щель ударил холод. Я увидел ельник — белый, тихий. И среди елей — движение. Тёмные фигуры. Шли медленно, по одной, по две. Не подходили к блиндажу. Кружили. Как будто искали вход.

— Снежники, — сказал за спиной Штырь. Он стоял, держа обрез. — Они чувят. Но не знают, где мы.

— Долго будут ходить?

— До утра. Может, дольше.

Я закрыл дверь. Вернулся к печке. Костя смотрел на меня, ждал.

— Не откроют, — сказал я. — Дверь железная. Стены крепкие. Сиди тихо.

Он кивнул. Но не успокоился. Я видел, как у него дрожат руки.

Они начали ломать дверь в три часа ночи.

Первый удар был глухой, как обухом. Потом второй. Третий. Пахом вскочил, схватил ружьё. Люба — топор. Штырь уже стоял у двери, смотрел в щель.

— Сколько? — спросил я.

— Пятеро у двери, — сказал он. — Остальные — вокруг. Стоят.

Дверь затрещала. Железо выдержало — дерево нет. Первый удар выбил щепку. Второй — расширил трещину. В щель просунулась рука — серая, обмороженная, с сорванными ногтями. Пальцы скребли по железу.

— Огонь, — сказал я. — Надо выманить их на открытое.

— Как? — Пахом смотрел на меня. — Мы в блиндаже. Выход один.

Я посмотрел на печку. На трубу. На крышу блиндажа — низкую, из брёвен, засыпанную землёй и снегом.

— Наверх, — сказал я. — Через трубу не пролезем. Но

дымоход широкий. Если разобрать кладку...

— Ты сдурел, — сказал Штырь. — Там же снег, лёд.

— Иначе они войдут, — сказал я. — И тогда нам конец.

Пахом посмотрел на дверь. На трещину, которая расширялась. Потом на меня.

— Делай, — сказал он.

Мы разобрали кладку у основания трубы. Дымоход был узкий, но пролезть можно. Штырь полез первым — он был шире меня, но пролез. За ним — Костя. Потом Люба. Пахом остался у двери с ружьём. Я — последним.

На крыше блиндажа было холодно. Ветер. Снег. Я выполз, вдохнул морозный воздух. Внизу, у двери, толпились «снежники». Шесть, семь, восемь — я не считал. Они не смотрели вверх. Они смотрели на дверь.

Штырь уже стоял на краю крыши. Обрез в руке. Он посмотрел на меня.

— Ну?

— Вниз, — сказал я. — По склону. Тихо.

Мы сползли по скату. Снег под нами хрустел, но «снежники» не оборачивались. Они были заняты дверью. Мы обогнули блиндаж, вышли к оврагу. Внизу, у ручья, лежало тело — то самое, с перерезанным горлом. Я не смотрел на него.

Пахом вылез последним. Он спрыгнул с крыши, упал в снег, поднялся. В руке — ружьё.

— Идём, — сказал он. — Пока они не поняли.

Мы поднялись по склону оврага. Наверху — берег, река,

ели. И тишина. Я оглянулся. Блиндаж остался внизу — тёмный, засыпанный снегом. У двери всё ещё толпились «снежники». Они не заметили, что мы ушли.

— На тот берег, — сказал Пахом. — По бревну.

Мы перешли по одному. Бревно скрипело, но держало. На том берегу мы остановились. Костя сел на снег, обхватил колени. Люба стояла рядом с ним. Пахом смотрел на реку.

— Дальше — перекат, — сказал он. — Там лодки. Старые, но одна должна быть целая. Если переправимся — Кын в двух днях пути.

— А если нет? — спросил Штырь.

— Тогда пойдём берегом, — сказал Пахом. — Всё равно дойдём.

Я стоял на берегу и смотрел на Чусовую. Чёрная вода, белые ели, серое небо. Где-то далеко, за перекатом, был Кын. Там — стены, схрон, живые. Там — Анфиса. Или то, что от неё осталось.

— Мирон, — Штырь тронул меня за плечо. — Идём.

Я отвернулся от реки. Мы пошли вниз по берегу. Костя шёл рядом со мной, молчал. Люба — за ним. Пахом — замыкал. Штырь — впереди.

Позади, в овраге, «снежники» всё ещё ломились в железную дверь блиндажа.

ГЛАВА 2. УТОПЛЕННИКИ

«Чусовая мёртвых не держит. Кто утонул — вернётся. Только не спрашивай, когда». — Из разговора на заимке, ноябрь

К перекату мы вышли к вечеру, и я сразу понял: здесь не пройти.

Берег обрывался. Не размыло — обвалился, будто кто-то отрезал ножом кусок суши и бросил в реку. Дальше, вдоль воды, торчали мокрые брёвна, коряги, куски льда — непроходимая каша. Обойти можно было только через реку. Или — никак.

Пахом остановился первым. Стоял долго, смотрел на воду. Потом spit в снег и сказал:

— Ну всё. Приехали.

Штырь подошёл, встал рядом. Посмотрел на обвал, на реку, на другой берег — далёкий, белый, в елях.

— По реке можно, — сказал он. — Лёд у берега держит. Если по кромке — дойдём.

— Ты посмотри на лёд, — сказал я. — Он серый. Тонкий. Под ним вода ходит. Шагнёшь — уйдёшь.

— А по берегу не пройти, — Штырь кивнул на обвал. — Вариантов два: или вверх, в лес, или через реку.

— В лесу — снежники, — сказал я.

— Вот именно.

Мы стояли молча. Костя сел на снег, обхватил колени. Люба подошла к нему, положила руку на плечо. Пахом смотрел на реку, потом на меня.

— Ты реку знаешь, — сказал он. — Говори.

Я знал. Знал с детства. Чусовая здесь — узкая, быстрая, с перекатом. Летом тут сплавщики проходили, осенью — рыбаки ставили сети. Зимой — не ходили. Никогда. Потому что лёд на перекате не встаёт до декабря, а то и до января. Вода идёт, крутится, дышит. И если в неё упасть — вынесет на стрежень, а стрежень — это смерть.

Но выбора не было.

— Плот, — сказал я. — Нужен плот. Сухостой, верёвки. Переправимся здесь.

Штырь посмотрел на меня, как на дурака.

— Плот? По такой воде? Ты сдурел. Река не примет — ты сам говорил.

— Река мёртвых не принимает, — сказал я. — Живых принимает. Или ты думаешь, мы уже мёртвые?

Он не ответил. Отвернулся. Я понял: боится. Штырь боялся воды. Я видел это по тому, как он смотрел на Чусовую — не отрываясь, как на змею.

— Слушай, — сказал Пахом. — Если плот — то на всех. Впятером. Один рейс.

— Впятером много, — сказал я. — Плот большой нужен. Брёвен десять, верёвки, шесты. Соберём к утру. Утром переправимся.

— Ночью они ходят, — сказал Костя тихо. — Ночью нельзя.

— Ночью мы будем на плоту, — сказал я. — На воде. Они в воду не идут. Или идут, но не так быстро.

Костя посмотрел на меня, потом на реку. Ничего не сказал.

Сухостой мы нашли в полуверсте от берега — старый ельник, поваленный ветром. Брёвна сухие, лёгкие. Мы таскали их к воде до темноты — по одному, волоком. Штырь работал молча, зло. Пахом — размеренно, как будто всю жизнь только и делал, что строил плоты. Люба вязала верёвки — у неё в мешке был моток капронового шнура, толстого, надёжного. Костя помогал, но часто оглядывался на лес.

К ночи плот был готов. Шесть брёвен, связанных поперёк, с шестью по бокам, с настилом из еловых лап. Штырь смотрел на него без энтузиазма.

— Утонем, — сказал он.

— Не утонем, — сказал я.

— Ты не знаешь.

— Знаю. Я на таких ходил.

Я не ходил. Я видел, как ходят. Отец учил — ещё пацаном, на Усьве. Он говорил: «Чусовая — не река, а зверь. Не бойся её, но и не верь. Иди по кромке, держись берега, не выходи на стрежень». Я помнил это. Я помнил всё, чему он меня учил.

Мы сели у костра — маленького, на самом берегу, чтобы не видно было с воды. Ели сало, хлеб. Пахом разлил спирт — по глотку, для сугреву. Штырь выпил, посмотрел на реку.

— Утопленники, — сказал он. — Ты говорил — они вернутся. Если мы их увидим — что делать?

— Не смотреть им в глаза, — сказал я. — И не давать им схватить плот. Если схватят — рубить руки. Или пальцы. Что успеешь.

— Рубить, — Штырь усмехнулся. — Топором по пальцам. А если не успею?

— Тогда не успеешь, — сказал я.

Он замолчал. Смотрел на огонь. Я видел, как у него дёргается щека — тик, который я заметил ещё на заимке. Он боялся.

Люба подошла, села рядом со мной. Посмотрела на реку.

— Я в Усьве была, когда началось, — сказала она тихо. — Мы тогда бабу одну хоронили. Утонула — сама, по пьяни. Мужики её в реку опустили, думали — унесёт. А она через три дня вернулась. Вышла на берег, мокрая. И пошла по селу. Мы её узнали. Кричали. Она не слышала. Или не хотела слышать. — Люба помолчала. — Мужики её потом топорами. Долго рубили. Она не падала.

Я не ответил. Я смотрел на огонь.

— Мне страшно, — сказала Люба. — Не за себя. За Костю. Он мальчик ещё. Я его из Усьвы вывела. Сестра его была — умерла. Я обещала, что доведу. До Кына.

— Доведём, — сказал я.

Она посмотрела на меня. Долго. Потом кивнула.

— Спи, — сказала. — Утром переправа.

Утром мы спустили плот на воду.

Река приняла его спокойно — чёрная вода подхватила брёвна, покачала, выравнивала. Я стоял на настиле, с шестом. Штырь — на носу, с обрезом. Пахом — на корме, с ружьём. Люба и Костя — в середине, между брёвен.

— Отталкиваемся, — сказал я.

Шест вошёл в дно. Плот двинулся. Медленно, тяжело — вода его держала, но не несла. Я работал шестом, толкаясь от дна. Пахом — за мной. Штырь смотрел вперёд, на воду. Тишина стояла плотная, только вода шумела на перекате — глухо, ровно, как дыхание.

Первый утопленник появился, когда мы прошли середины.

Я не увидел его — услышал. Тихий всплеск у борта. Потом — скрип. Как будто кто-то провёл ногтями по дереву. Я посмотрел вниз. Между брёвен, в чёрной воде, белело лицо. Женское. Волосы прилипли к щекам, глаза открыты. Она смотрела на меня. Или не на меня — просто вверх.

— Штырь, — сказал я тихо. — Слева.

Он обернулся. Увидел. Побледнел.

— Что делать?

— Ничего. Не смотреть. Гребь.

Он отвернулся. Но я видел, как у него дрожат руки.

Второй вынырнул у кормы. Мужчина, борода, ватник. Он ухватился за бревно — обеими руками, мёртвой хваткой. Плот качнулся.

— Пахом! — крикнул я.

Пахом обернулся. Увидел. Ружьё вскинул, но не выстрелил — боялся попасть в брёвна, в нас.

— Руби! — крикнул я. — Топором!

Топор был у Штыря. Он метнулся к корме, но утопленник уже подтягивался — медленно, тяжело, переваливаясь через бревно. Мокрый, разбухший, с пальцами, сорванными до кости. Он тянулся к Пахому.

Штырь ударил. Топор вошёл в кисть — я услышал хруст, как будто сломали сухую ветку. Пальцы разжались. Утопленник соскользнул в воду. Но второй уже был у борта — справа. Третий — у носа. Четвёртый — снова слева.

Их было много.

— Гребь! — крикнул я. — К берегу! Гребь!

Я толкал шестом, Пахом — за мной. Плот двигался, но медленно — вода его держала, как будто не хотела отдавать. Утопленники лезли со всех сторон. Один схватил Костю за ногу. Мальчишка закричал — тонко, как заяц. Люба ударила утопленника топором — по голове, раз, другой. Голова раскололась, как гнилой орех. Утопленник упал в воду. Но Костя уже лежал на настиле, схватившись за ногу.

— Царапина? — крикнул я.

— Нет! — крикнул он. — Нет! Просто схватил! Просто схватил!

Штырь рубил направо и налево. Топор мелькал в воздухе, входил в мокрую плоть. Но утопленников не становилось меньше. Они лезли из воды, как черви из могилы. Молча, медленно, неостановимо.

Я увидел, что нас несёт на стрежень.

Плот развернуло. Течение подхватило его, потащило вниз, к перекату. Впереди — камни, пена, рев. Шест вырвало у меня из рук. Я упал на настил, схватился за брёвна. Пахом кричал что-то, но я не слышал — река заглушала всё.

— Держись! — заорал я. — Держись!

Плот врезался в камень. Брёвна хрустнули, разъехались. Я упал в воду. Ледяная — обожгла, как кипяток. Течение подхватило, потащило. Я успел вдохнуть — и ушёл под воду.

Под водой было чёрно и тихо. Я видел, как над головой проплывают брёвна, как мелькают ноги — чьи-то, живые или мёртвые, не понять. Я вынырнул, глотнул воздуха, снова ушёл. Течение несло меня, крутило, била о камни. Я ударился плечом, потом коленом. Больно. Значит, живой.

Кто-то схватил меня за воротник. Я рванулся, но хватка была крепкая. Меня тащили к берегу. Я обернулся — Пахом. Он держал меня одной рукой, второй грёб. Рядом — Люба, с Костей на плече. Костя был без сознания. Штырь — позади, с обрезом в руке, отбивался от утопленника, который тянул

его за ногу.

Мы вылезли на берег. Я упал на снег, лицом вниз. Лёгкие горели. Тело не слушалось. Я лежал и слушал, как стучит сердце — громко, как выстрелы.

Потом поднял голову.

Штырь стоял на берегу, по колено в воде, и рубил утопленника топором. Того, что тянул его за ногу. Рубил долго, яростно, пока не отрубил руку. Утопленник упал в воду, но не уплыл — остался на кромке, лицом вверх. Смотрел на небо.

Пахом сидел рядом, тяжело дыша. Люба склонилась над Костей — тот был бледный, но дышал. Очнулся. Закашлялся. Люба заплакала — тихо, без всхлипов, просто слёзы текли по лицу.

Штырь вышел из воды. Топор в руке, мокрый, красный. Он посмотрел на меня. Долго. Потом сказал:

— Ты был прав. Река их не принимает.

— Знаю, — сказал я.

— Мы потеряли плот.

— Знаю.

— И рюкзак. С патронами. Спиртом.

— Знаю.

Он сел на снег. Опустил голову. Я видел, как у него трясутся плечи — то ли от холода, то ли от чего-то другого. Он не плакал. Штырь не плакал. Но что-то в нём сломалось. Я это видел.

— Дальше — берегом, — сказал я. — Кын в двух днях.

Пахом поднялся. Посмотрел на реку — на обломки плота, которые несло вниз по течению. Потом на меня.

— Хорошо, — сказал он. — Берегом. Идём.

Мы шли до темноты. Медленно — Костя хромал, я хромал, Штырь еле передвигал ноги. Берег был ровный, но тяжёлый — снег, камни, коряги. Река дышала справа. Ели стояли в белых шубах. Где-то далеко, за перекатом, дымил костёр. Кто-то живой. Или что-то.

На закате мы вышли к устью Межевой — маленькой речки, которая впадала в Чусовую. Здесь берег был чистый, песчаный, не обваленный. Хорошее место для ночёвки.

И здесь мы увидели следы.

Пахом остановился первым. Присел на корточки. Я подошёл. На снегу, у самой кромки воды, отпечатались следы. Ботинки. Чёткие, глубокие. Один человек. Шёл от реки к лесу. Недавно — снег ещё не занесло.

— Живой, — сказал я.

— Или был, — сказал Пахом.

Я присмотрелся. Размер — сорок второй, может, сорок третий. Не мертвец — те волочат ноги. Этот шёл уверенно, широко. И не один — вон, дальше, у кромки леса, ещё след. Второй. Тоже живой.

— Двое, — сказал я.

— Или один вернулся, — сказал Штырь. Он стоял позади, смотрел на следы. Голос у него был глухой, чужой. — Или их было двое, и один ушёл.

Я посмотрел на лес. Тёмный, заснеженный, молчаливый. Кто-то был там. Кто-то живой. Или что-то.

— Лагерь здесь, — сказал я. — Костёр. Быстро.

Мы развели огонь на берегу, у самой воды. Штырь сидел у огня, смотрел на реку. Костя спал, укрытый телогрейкой. Люба сидела рядом с ним. Пахом чистил ружьё.

Я подошёл к Штырю. Сел рядом.

— Ты как?

— Нормально, — сказал он. Не посмотрел на меня.

— Штырь.

— Что?

— Ты в Кыне был?

Он замер. Я увидел, как напряглась его спина. Секунду. Две. Потом он повернулся ко мне. Лицо у него было спокойное, но глаза — нет. Глаза бегали.

— Не был, — сказал он. — А что?

— Ничего, — сказал я. — Просто спросил.

Он отвернулся. Смотрел на реку. Я смотрел на него. И думал о том, что он врёт.

ГЛАВА 3. КАМНИ

«Великан и Печка стоят, пока река течёт. А река течёт, пока стоит Урал. Всё остальное — временное». — Из разговора на заимке, ноябрь

Мы вышли к Великану на второй день после переправы.

Камни я узнал сразу — издалека, с берега. Великан поднимался над Чусовой серой глыбой, покрытой снегом, как саваном. Печка — рядом, ниже, с трещиной посередине, чёрной, как разинутый рот. Между ними — узкий проход, тот самый, где я бежал от «снежников» в первый день. Я помнил каждый шаг. Помнил, как скользил по мокрым камням, как падал, как карабин остался на снегу.

— Знакомые места, — сказал Штырь. Он шёл позади, с обрезом на сгибе локтя. Смотрел на камни без интереса — устал, замёрз, голоден.

— Здесь я потерял карабин, — сказал я.

— Здесь ты потерял много чего, — сказал он.

Я не ответил.

Пахом остановился, поднял руку. Мы замерли. Он смотрел вперёд — туда, где за камнями начинался ровный берег, поросший ельником. Там что-то было. Не мертвецы — те двигались иначе. Что-то другое. Тишина. Слишком плотная, как будто кто-то выключил звук.

— Лагерь, — сказал Пахом тихо. — Вон, видишь? Палат-

ки.

Я присмотрелся. За камнями, на ровной площадке у берега, стояли палатки. Три, может, четыре. Рядом — кострище, чёрное пятно на снегу. И тишина. Ни дыма, ни движения.

— Живые? — спросил Костя.

— Нет, — сказал я.

Мы пошли медленно, по одному. Я — первым, потому что знал это место. Пахом — за мной, с ружьём. Штырь — замыкал. Люба держала Костю за руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.